

ИННА БРОУДЕ



РАВНОВЕСИЕ

БОСТОН • 2009 • BOSTON

Инна Броуде
Равновесие. Рассказы

Печатается по оригинальному авторскому тексту

Copyright © 2009 by Inna Broude-Epstein

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-934881-16-3

Library of Congress Control Number: 2009922595

M•GRAPHICS PUBLISHING
www.mgraphics-publishing.com
info@mgraphics-publishing.com

Обложка, фотографии: © И. Броуде-Эпштейн

Отпечатано в США

Положение «человека границы» — сама неустойчивость: внешнего (с миром, другими живыми существами) и внутреннего (с собой) равновесия он достигает благодаря непрерывному движению.

Валерий Подорога
Из книги «Выражение и смысл»

Терос есть синоним духа движения или света. Тамос — материи, инерции или невежества. Жизнь Космоса складывается из равновесия этих начал.

Елена Рерих
Из книги «Сокровенное знание»

*Жизнь идёт по своим, никому не подвластным законам,
Все невзгоды и боли вдруг сходятся в точке в одной.
Но заполнится глаз этим серым и бледно-зелёным,
Этой серой волной, этой бледно-зелёной волной —
И наступит покой.*

Леопольд Эпштейн
«Шторм на Кейп-Коде»

Встреча

1

Все дела уже были переделаны: рубашки в химчистку заброшены, витамины куплены, фотографии получены. Мотя Левин, вернее Матвей Ильич Левин, точнее Мэттью Левайн еще раз взглянул на глянцевый прямоугольничек с собственными инициалами. Таких — прислали ему штук сто: благодарность за пожертвования на охрану американской природы. Девать их было совершенно некуда, и Мотя пользовался ими для хозяйственных нужд. Вот и на сегодняшнем — скороговоркой, то есть, сокращая слова только ему понятным образом, он записал, что должен сделать в субботу, во второй половине дня после ракетбола и бассейна.

Ехал он медленно, никуда не торопясь, пропускал редких прохожих, плавно затормаживая перед ними и озаряясь улыбкой в ответ на благодарственную трясцу и размахивания руками. Сама эта неторопливость, после длинной замороченной рабочей недели, после утренних прыжков, перебегов и грохота мячей, честно отработанного кроля в зеленоватой, крепко пахнувшей хлоркой воде, была особенно приятна. Она напоминала парение, и расслабленная легкость тела укачивала душу: хотелось думать только о хорошем. Мотя пощелкал кнопкой приемника, настроил громкость и потер рукой сначала правое ухо, потом левое — до жару, до иголок (давняя-предавняя привычка... От нее — абсолютная уверенность, что так он лучше и больше слышит).

Скрипки уже набирали силу, хотя еще делали вид, что совершенно ни при чем, будоража и без того возбужденные виолончели... «Моцарт!» — подумал Мотя, и еще раз повторил про себя: «Моцарт», чтобы окончательно увериться. Но именно в этот момент засомневался и, на всякий случай, чтобы потом не расстраиваться, добавил: «Гайдн!» — и сделал восклицательную паузу.

Глаза его тоже вбирали музыку: желтое, оранжевое, красное, умопомрачительное пиршество новоанглийской осени, которая, дай Бог, продлится до Рождества. Мотя с удовольствием отметил, как приятно изменился за последние годы его городок, который был деревня деревней, когда он в нем поселился, купив свой первый кондоминиум с двумя спальнями и верандой, выходящей в лес. Теперь — пожалуйста: тротуары, небольшие моллы, чудный книжный магазин с маленьким кафе, где продают настоящий кофе и свежие булочки, французский ресторан, в который приезжают знатоки... И все это встроено в леса, которые как будто немножко расступились и тут же обволокли домики, дома, домища, блестящее стекло и черный асфальт своей волшебной рамкой.

Мотя жил в этом городке, как ему теперь казалось, всю свою жизнь: из шестнадцати — после отъезда из России — тринадцать лет, и был одним из первых «наших», решившихся поселиться в глухомани. Это уже потом, когда разлетелось про хорошие школы и безопасные нейборхуды, сюда рванули многие, так что теперь даже поговаривали, что вот-вот откроют русский магазин... Интересно, как его назовут? «Березка»? Впрочем, такой уже есть... «Ромашка», «Богатырь», «Славянский базар»?

Год назад Мотя опять переехал — на этот раз уже в дом, новый, только что отстроенный, пахнувший молодым деревом и свежей краской, тоже рядом с лесом, густым и непроходимым, так что ни справа, ни слева не было у него никаких соседей и на ближайшее время не предвиделось. В доме этом имелось уже не две спальни, а три. Гостиная, смыкаясь с обширной кухней, образовывала пространство, похожее на раскинутый шатер, который уходил в небо. В общем, современное строи-

тельство... С этими экономическими заморочками было бы глупо не воспользоваться низким процентом. Все словно с ума посходили: покупай — не хочу. И еще. Когда-нибудь он все-таки женится, не будет же он всегда — вот так, сам по себе. Мысль эта промелькнула и пропала, поскольку была не самой неприятной, но и не самой сладкой. Романы его длились недолго. Он еще не успевал обольститься, а уже чувствовал: опять — не то. «Дальше будет только хуже!» — уверяла его родная мать и после этого долго смотрела в глаза. Мотя понимающе кивал, и именно поэтому мать тут же дергала Михаила Евсеича.

— Ну, скажи ему, Мика! — умоляла она, как будто слова отчима могли враз все изменить. Михаил Евсеич, глядя поверх очков, спокойно и сдержанно повторял: «Только хуже!» — и безнадежно поднимал брови.

Мать с отчимом жили от Моти в двух шагах, на машине, конечно, в доме для пенсионеров, и по четвергам он приходил к ним на обед с неизменным борщом. Русский магазин был бы для них манной небесной — творожок, кефир, колбаска, зефир... Чувствовали они себя хорошо, расторопно, как говаривал отчим, имея в виду, что теперь они торопятся не торопясь.

Рулить оставалось Моте совсем немного: мили две прямо, через центр его городка, состоящий из нарядной, немного кукольной — ресторанчики, магазинчики — улицы с отростками переулков, а дальше, еще около четырех, боковыми, узкими, проселочными. Он ехал и внимательно следил за скрипками, которые, наконец, приостановились, задержали дыхание и только после этого, окончательно выдохнув, замолчали. Мотя подобрал живот и напрягся. «Гайдн», — незамедлительно сообщил мягкий дикторский баритон, спокойно пустившись в дальнейшие объяснения. Ликование пузырьками ударило Моте в нос, как крепкий шипучий газированный лимонад, который он когда-то, еще школьником, покупал на станции метро «Парк культуры», так что ему даже пришлось немножко поморщиться и прикрыть глаза. «Конечно, Гайдн! — повторил он про себя. — Кто бы сомневался!»

В эту самую секунду большой кленовый лист с подпушкой из оранжевого и красного вспорхнул, подхваченный ветром, и, сначала ударившись, замер, а потом плотно распластался на переднем стекле, так что Моте пришлось даже вытянуть шею, поскольку этот самый лист перекрыл ему всякое возможное обозрение. Он затормозил от неожиданности, и, к счастью, совершенно вовремя, потому что какой-то пожилой человек в беретке решил переходить улицу и шел как-то медленно и неуверенно, постукивая перед собой палкой, ни на кого не обращая внимания, не поворачивая головы ни вправо, ни влево, как будто никого не замечал. «Слепой!» — мелькнула в Мотиной голове быстрая и жалостливая молния, одновременно высветившая испуганное облегчение, что такое, слава Богу, не с ним. Но в это время старикан повернул-таки свою голову в Мотину сторону, встретился своими прозрачно-голубыми, с белесыми короткими ресницами, глазами с Мотиными, и тут же отвернулся, и, как ни в чем не бывало, так же не спеша, даже как бы вразвалочку, пошел себе дальше, перешагал улицу, и, повернув в проулочек, исчез. И пока он исчезал, Мотя успел разглядеть серые брюки с искоркой, шикарные кожаные штиблеты с тупыми носами, сутулую спину с одним плечом выше другого, торчащие седые волосы из-под беретки. «Явно пора стричься!» — отметил Мотя, провожая старичка взглядом, и в ту же секунду узнал его. Потому что его нельзя было не узнать. Это был его дядя, родной брат матери, своей собственной персоной — от штанов с искоркой до обтертой беретки, от прозрачно-голубых глаз до седых длинных волос, остатков буйной рыжей шевелюры, которая росла во все стороны, как растут сорняки, заполняя собой свободное пространство под небом.

2

Все было бы неплохо. В конце концов, почему бы Моте не увидеть своего собственного дядю на улице тихого американского городка, медленно, как и положено старому человеку,

переходящего улицу? Заминка была в том, что дядя его никогда в Массачусетсе не жил и даже навестить племянника и сестру не выбрался, о чем очень сожалел. Но и это было давно, поскольку уже года три как дядя умер у себя дома, в Москве, на Маросейке, внезапно и, к счастью, легко, от сердечной недостаточности. И Мотя, и мать тогда в Москву тоже не выбрались, о чем страшно переживали.

Дядю, Самуила Яковлевича, Мотя очень любил за легкомысленную веселую кипучесть, страсть к балагану и розыгрышу. Произносил дядя свое имя-отчество торжественно и свысока: «Разрешите представиться: Самуил Яковлевич...» Потом он выдерживал длинную многозначительную паузу, с восторгом наблюдая, как у собеседника расширяются глаза, как тот пытается выловить в бесконечных пропастях памяти знакомый образ, который потусторонней тенью набрасывается на облик стоящего перед ним рыжего шевелюрного человека, и, когда новичок, все еще ни в чем не уверенный, запутавшийся в датах, выбрасывал руку, чтобы выразить свою бесконечную признательность вечному Маршаку, дядя смиренно добавлял: «Гуревич! И, пожалуйста, не путайте! — тут он уже слегка прикрикивал, повышая голос. — Мы с ним даже не родственники».

Работал Самуил Яковлевич экономистом, обожал свое свободное время, в которое изучал иностранные языки, особенно итальянский, слушал музыку, до сладкой одури, до слез на глазах, читал — самому себе — вслух, при этом помахивая пальцами, как дирижер. Увлечениям его не было конца, и он все время что-нибудь да не успевал. Например, закончить диссертацию. Найти работу попрестижней. Завести детей. Впрочем, и женился он не рано, но по страстной влюбленности в Алину Федоровну, которая пела старинные русские романсы, аккомпанируя себе на лаковом рояле. Он, этот рояль, занял, между прочим, большую часть его двухкомнатного поместья, но ради русских романсов... Ради русских романсов Самуил Яковлевич готов был терпеть все, в том числе и кота Хвата, который кусал его за пятки и жадно следил за шевелящимися пальцами рук и ног. На кота Самуил Яковле-

вич иногда устраивал охоту, вместе с Мотей. Кот воображался саблезубым тигром, горным орлом, снежным человеком, в зависимости от настроения... В общем, шумные и безудержные игры, в которых дядя всегда переусердствовал, а Мотя страшно потел.

Но Самуилу Яковлевичу развлечений с племянником было недостаточно. Он хотел влиять на него, и не просто так, по касательной, а по самому живому, и поэтому влезал во все подряд. Именно он настоял на том, чтобы дать Моте — в нежном возрасте, лет около восьми — вина, если тот, конечно, захочет, и не делать из этого запретного дива. Он тогда спорил с его, Мотиным, отцом. Мотя их так и запомнил — один против другого, взъерошенный рыжий Самуил Яковлевич и длинный, на голову выше, отец, уже сильно полысевший, кривящийся, недовольный. Мать, конечно же, соглашалась с братом. Моте это нравилось, потому что, во-первых, хотелось попробовать, во-вторых, было приятно, что дядя — изо всех сил — за него. Но при этом ныло и болело: не хотелось ссориться с отцом. И так все шло вкривь и вкось — они разъезжались, меняли квартиру, мать то плакала, то сердилась, и к отцу водил его Самуил Яковлевич, раз в неделю, по воскресеньям, в какую-то темную комнатку с длинным коридором, в котором необычно пахло. А потом отец взял и уехал во Владивосток, то есть на край света, и они за всю Мотину жизнь встретились считанные разы. И Моте поэтому совсем не трудно пришлось привыкать к Мике, который появился не сразу, но был гораздо больше похож на них, чем отец. Самуилу Яковлевичу Мика вообще приходился другом, и поэтому оба они, по дружбе, легко, шутя и играя, как любил подчеркивать дядя, влезали в Мотину судьбу.

Единственный раз, пожалуй, племянник видел дядю серьезным, когда дело зашло о его, Мотином, поступлении в институт. Мотя разрывался: история или математика, математика или история?

— Да ты что? — вступил Самуил Яковлевич. — Кто же в наши времена такое выдумывает? Ты бы еще в журналисты пошел! И не мудри!

И после длинной и нудной лекции подытожил:

— Беседа прошла в теплой и дружественной обстановке.

Когда Левины, то есть мать с Мотей, и Михаил Евсеич Богатый собрались уезжать, дядя как-то притих. Он-то точно не мог бы прожить без Москвы, Маросейки, родных привычек. Все понимал, но такое — было не для него.

— Удачно, что Мотыка успел уже поработать. Не беспокойся, Люба, программисты везде нужны. Не пропадете, — напутствовал он. — Вы же Богатые! Тем более что у Мики — как-никак, а официальное приглашение...

Между тем, и вправду все получилось неплохо. Михаил Евсеич, потрудившись в своем университете на полную катушку — статьи, преподавание, конференции — вышел, наконец, на пенсию, и тут же оказался занят по горло: осваивал мудреные дыхательные упражнения, в любую погоду ходил гулять и таскал с собой упирающуюся мать, читал запоем и желательно по-английски, и наверняка что-то там свое придумывал: теоретик — он всегда теоретик.

Мать тоже смогла поработать, но короткими перебежками, как обзывал это Михаил Евсеич. Немножко — на кафедре славистики в том же университете, что и Мика, замещая страдающую хроническим гайморитом профессоршу, которая зимой часто теряла голос, а потом — на курсах иностранных языков, которые величали себя Институтом Иностранных Языков, напоминая ей молодость. Но интерес к русскому, довольно долго державшийся после перестройки, спал, а на французский и испанский предпочитали француз и испанцев.

Что же касается Моти, то и с ним все обстояло благополучно. Работал он теперь в третьей по счету компании, рос, повышал квалификацию, щелкал новые языки, как золотые орешки, сочувствовал стареющим программистам, которым ничего не остается как отставать от технического прогресса... А в свободное время, которого, признаться, было не так уж и много, опять-таки, наслаждался. То ракетбол и плавание, то кемпинг со скалолазаньем, то национальные парки... Собирался опять в Европу, в Грецию, но пока отложил,

из-за нового дома и нового музыкального уголка, который еще обустроить и обустроить. Но звук, но чистота, но эффект... Дяде и не снилось.

Как давно, как давно, и еще сто раз — как давно! — не вспоминал Мотя о дяде. То есть так, бегло, вскользь, с чьей-то подачи, вспоминал: мать что-нибудь да обронит, Мика заговорит. Каждый раз, приходя к ним, он утыкался в дядин карандашный портрет. Когда-то этот портрет очень ему нравился. Все казалось таким, как в жизни — и сигарета, зажатая между пальцев, и шевелюра — во все стороны, и беззаботное выражение лица. Но после дядиной смерти портрет этот изменился, черты осунулись, насмешка растворилась, как будто ее стерли резинкой, а вместо этого обозначились острые скулы, усталость и даже удрученность, которой в нем при жизни и в помине не было. Впрочем, Мотя с какого-то момента перестал этот портрет замечать. Глаз присмотрелся, привык, а взгляд несетя себе, ни во что не вникая. Он и сейчас напрягся, пытаясь восстановить карандашную невнятность, но к своему удивлению, схватил все враз, мгновенно, как будто портрет висел прямо перед ним. Более того, черно-белая фактура ожила и раскрасилась — рыжиной, седоватой, но все-таки рыжиной, голубизной глаз, которые казались отчужденными, это из-за прозрачности, и даже румянцем, который дядя нагуливал в своих длинных променадах. То есть получилось что-то похожее на портрет и одновременно на того старика, который перебегал улицу. Только моложе.

— Господи! Надо же так обознаться! — решил Мотя. — Прямо тень отца Гамлета, вернее, тень дяди...

«Дяди Моти» — совсем не звучало. «Тень дяди Матвея» — было получше, но все равно глупо, не говоря уже о тени дяди Мэттью. И пока он припарковывал машину, пока доставал рубашки и пакет с рамками из машины, пока открывал ключом дверь, пока вешал свою куртку, — он решил, что всю эту белиберду надо выкинуть из головы, то есть попросту забыть.

Но именно это — то есть, выкинуть из головы и попросту забыть — не получалось. Мотя даже поймал себя на том, что думает об этом столкновении — а как назвать по-другому? — постоянно. Еще раз. В том, что он обозначился, то есть, принял какого-то чужого дядьку за своего родного, сомнений никаких нет. Тут поставлена основательная и жирная точка. Но, несмотря на все уговоры — самого себя, и соглашения — с самим собой, его лихорадило, как будто он подхватил гнилую марсианскую заразу, не с температурой и потом, а с тревожной невменяемостью. Он стал зависать перед компьютером, что уже само по себе — ни в какие ворота, бессмысленно упираться в мерцающий экран, и мог просидеть так хоть час, хоть два, и вполне возможно, что и весь день, расплываясь без всяких мыслей и древа. Такое ощущение, что его, раз — и выдернули из розетки: он перестал следить за биржей, по рассеянности пропустил зубного, чистку, на которую аккуратно записался за три месяца... Эта странная подвешенность развивалась неестественно и стремительно, настолько стремительно, что он расхотел пойти на субботний ракетбол. Нашел себе замену и даже стал подумывать о том, чтобы пропустить еще раз. Вообще-то он не мог жить без этих прыжков, оттяжек, грохота, всегда ждал субботы, как небесной радости, и вот теперь, пожалуйста... Вялость и сплошное расстройство.

К середине третьей недели, пытаясь мучительно собраться, Мотя решил пойти на ланч пораньше, чтобы слегка проветриться. «Глядишь — и полегчает!» — посочувствовал он себе. Осеннее золото уже поблекло, потускнело от влажного ветреного холода, как всегда внезапно нахлынувшего. Он аккуратно задернул молнию на куртке, подправил шарф, поднял повыше воротник, как несмышленный подросток, застигнутый хандрой, и втянул голову, чтобы стать незаметнее. Дальше было так. Пошел он правильно — в сторону любимого индийского рестораника: первый направо, второй налево, пересек большую улицу и опять повернул направо, это он точно помнил. Но потом началась какая-то сумятица,

потому что он перестал узнавать знакомое: все притворялось другим, непривычным, в какую бы сторону он ни двигался... Он заметался, чувствуя, как истекает, откапывает время. Купил в набежавшей на него пиццерии красный, ровно обрубленный треугольник, из которого торчали грибы и грубый зеленый перец, тут же у стойки, обжигаясь, проглотил его, подумал, что надо бы запить, но испугался, что никогда не выберется из этого табора, и заспешил. На улице он схватился за первого встречного и выпытал из него, переспрашивая каждое слово по три раза, как дойти до Грэхем стрит. Оказалось, что он забрался черт-те куда, и кучу времени крупным шагом махал и махал, спешил и задыхался. Ему все время хотелось оглянуться, потому что казалось, что кто-то быстро-пребыстро бежит за ним. Но никого там не было: шли себе какие-то люди, совершенно не обращая на него внимания, и старика, похожего на его дядю, там, конечно, не было.

Естественно, что работать после всех этих треволнений не получилось. «Ничего, — завтра будет лучше. Завтра посижу подольше, никуда не буду спешить, даже не ланч не пойду, возьму что-нибудь из дома...» — примерил Мотя. Но тут же вспомнил, что завтра четверг. Стало быть, мать, которая все делает заранее, уже хлопочет: режет, крошит, кипятит, варит и парит, и отменить это никак нельзя. Можно, конечно, попробовать сослаться на срочную работу, но она расстроится, разнервничается, начнет звонить, расспрашивать, потом подойдет Мику. «Лучше пойти! — прикинул Мотя. — Вот что: лягу сегодня пораньше, приеду завтра пораньше, на ланч не пойду — и все успею. Выплюсь как следует, и все обойдется. Завтра будет по-другому». Решение было принято так быстро и так легко, что, не откладывая и не дожидаясь угрызений совести, Мотя заскочил к Джону Финни, менеджеру и ракет-больному партнеру, расплылся в расстроенное лицо и, подхрипывая, сообщил:

— Голова болит! Наверно, грипп... — и неопределенно махнув, побежал дальше, прикрывая рот, как будто боялся чихнуть и таким образом заразить ни в чем не повинного Джона. Оставалось собрать портфель, что он и сделал, после

чего — тщательно застегнул куртку, уже по инерции втянул плечи, и побыстрее поехал домой, чтобы выспаться.

4

В доме было неуютно и холодно по-осеннему, но топить было как-то глупо, слишком рано, и, чтобы не мерзнуть, Мотя натянул на себя толстый свитер и теплые носки. Если бы он курил, то, наверное, вот так, сидя на своей кухне, выкурил бы пачку сигарет или парочку толстых вонючих сигар... Если бы он пил, то, наверное, достал бы какую-нибудь полную, чего-нибудь крепкого, и влил бы в себя без остатка... Есть тоже не хотелось. Вкус пиццы и горечь грубого перца до сих пор томились во рту. Он согрел воду, взял самую большую чашку, с черной собачьей мордой — это ему вместо собаки подарила бывшая подружка Лорка, бросил в нее первый попавшийся пакетик чая, потом подумал и добавил еще один, обнял чашку двумя ладонями, чтобы было потеплее, потом растопырил пальцы, потому что было горячо, и, глядя в темное окно, стал медленно-медленно, глоток за глотком отпивать густой темный настой. Думать ни о чем особенно не получалось, так, мелькало одно, потом другое, что именно, он даже не мог бы сказать, и, вместе с тем, он хорошо понимал, что проигрывает одно и то же... Вот старичок этот мельтешит у него перед машиной, ни на кого не обращая внимания, потом поворачивается, смотрит на Мотю прозрачными голубыми глазами, а потом, как ни в чем не бывало, шагает себе по улице и растворяется. И при этом идет он походкой Самуила Яковлевича, одет в его потертую беретку и брюки, в руках держит его палку... Мотя подумал, что стал ездить в последнее время неуверенно, пугливо, все время поджидая, что вот из-за угла вынырнет опять этот старикан и он с облегчением удостоверится, что и вправду обознался. В чем он несколько и не сомневался. Но между тем какие-то странные ожидания все равно маячили, а старикан никак не появлялся, хотя и не должен был появиться.

«Может, матери рассказать?» — вдруг осенило его. Он даже увидел, как она усмехается, удивленно и сострадательно: «Ну что ты, Матюш! В старости все становятся друг на друга похожи. Дай Мике беретку и палку, со спины — и не отличишь!» Но так будет только поначалу. Рассказ засядет у матери в голове, она — еще через пару дней — углядит в нем предзнаменование, какой-нибудь сигнал свыше, станет думать неизвестно о чем, и при этом истерзает Мотю бесчисленными вопросами, на которые он — ну, никак! — не сможет ответить. В общем, мать отпадает. Ей все эти миражи и оптические обманы уже не по силам.

Ситуация получалась глупой, смешной и невыносимой. Матери — не расскажешь. Мике — тоже: он хоть и скала скалой, но ненароком может проговориться. Кто еще? Борик Спиральский? Севка Моргулис? Джон Финни? Потребовалась секунда, чтобы представить удивленные глаза Борика, с успокаивающим и необидным, мол, старик, что за шутки? И Севкину насмешку: ну что, все-таки поехала крыша от этого программирования, я же тебя предупреждал, мозги-то сохнут. Как бы отнесся к такому Джон — непонятно, но сочувствие бы выразил, убедил, что ни в коем случае нельзя пропускать субботние тренировки, и по сердечной доброте пригласил бы к себе, в тепло, уют, к дочкам Анне и Мэри, жене Эллен, собаке Тиму, на традиционный ужин с курицей, салатом и малокалорийным десертом.

Оставался психиатр. Это по всей логике вещей. Какой-нибудь спокойный проверенный пожилой мужчина, повидавший на своем веку медные трубы, так что удаляющаяся спина умершего дяди его бы не испугала. Мотя даже вздохнул облегченно и стал вспоминать, кто ему рассказывал про толкового и солидного психиатра, у него даже на языке каталось его имя — то ли Тэдди, то ли Гэрри, явно что-то удваивающееся посередке, и при этом очень простое. Но потом — остыл. Чужой человек, все-таки. К тому же американец. Что он ему сможет объяснить? Тут начни, и никогда не останешься, потому что разве можно представить жизнь, которая ему, Моте, досталась обрезком и уже стала забываться,

но все равно теплится внутри и никуда не девается. Он, этот Тэдди или Гэрри, наверняка упрется в треугольник — мать, брат матери, то есть дядя, и отец — некровосмесительный и тем более невообразимый, потом как-нибудь пришьет туда Мику, который заменил ему отца, и пока они прочешут семейно-родственные дебри, пройдет черт знает сколько времени. Что же еще?

Еще можно пойти к собственному врачу и признаться, к примеру, что у него, у Моти, быка-здоровяка, спад. Такой вот, без всякой причины, раз — и навалился. В крайнем случае, можно что-нибудь про одиночество наплести и получить успокаивающее. Но тут опять всплыли какие-то неясные разговоры, что антидепрессанты ничего не меняют, а со временем только ухудшают, потому что — спать не спишь, вес набираешь, или что-нибудь еще, совсем похуже. В общем, тоже не радость.

В доме стало совсем темно, но включать свет Моте не хотелось. Даже представить, что он сейчас встанет, переставит одну ногу, потом другую, сделает шаг, другой, поднимет руку и пальцами нащупает выключатель, он не мог — все это выглядело Геракловым подвигом. «Ну и не надо ничего включать!» — успокоил он себя, и так хорошо. Он сидел в крошечной тьме и смотрел, как в этой тьме поблескивает оконное стекло. Значит, где-то там на улице горела лампочка, иначе ничего не было бы видно. За окном стоял лес рваной черной полосой, и Мотя знал, что лес этот тянется и вправо, и влево, и на расстоянии полумили никто не живет, ни одна живая душа, потому что он сам так хотел, чтобы было совершенно отдельно. «У меня действительно депрессия, а я все шутки шучу!» И от того, что мысли, которые раньше казались ему такими легкими и праздничными, вдруг обернулись мрачными и тяжелыми, и от того, что он увидел себя со стороны — сидящего в темноте, окруженного темнотой, ему вдруг стало не по себе. Чай он уже почти допил, но чашка была еще теплой, и поэтому казалась живой. Он держал ее в руках, опять растопырив пальцы, и чтобы греться, и чтобы удержать угасающее тепло. Мысли по-прежнему неслись и скакали. Конечно, о дяде,

потертой его беретке, старческой беспомощности, которую он так явно углядел в его походке, рассосредоточенном и неточном взгляде, сгорбленной спине. Еще о том, что он, Мотя, темен и одинок, сидит себе, как бревно, в этом необъятном непрозрачном доме, даже встать не может, чтобы включить свет, не говоря уже ни о чем другом... «Может, кончается мой век?» — испуганно и одновременно торжественно кольнуло его. И вслед за этим потянулось не менее странное, назойливое и печальное.

Живых на белом свете гораздо меньше, чем уже умерших, отошедших в мир иной. И это — несмотря на все население Индии и Китая. Тут он увидел, как в кино на большом экране, раздвигающееся темное пространство с яркой сияющей точкой посередине. Яркая точка, должно быть, означала Землю со всем ее населением, а темное пространство — всех тех, кто прошел через нее и исчез, и их было так неисчислимо много, что у Моти заняло сердце. Но и эта горесть вдруг улетучилась, и возникло ощущение, что если все устроено так, как оно устроено, то в том, другом мире, тоже должна быть своя жизнь, хоть и отделенная непроницаемой мглой, хоть с одной, только входной дверью, но все-таки жизнь, потому что разве за эту уйму времени в ней не должны были сложиться свои вечные традиции. «Это вопрос или ответ?» — спросил он себя. И замялся, потому что не очень понимал. И чтобы выпутаться из этой темной бездны, решил переключиться на простое. Например, что завтра четверг и он как следует поест у матери, положит в борщ большую ложку сметаны, нет, даже две, обязательно посмотрит на дядин портрет, и не просто так — скользнет взглядом. Потому что он действительно, жалкий дурак, довел ситуацию до ручки, так, кажется, говорят, и дяде нужно было сквозь все пространства добираться до его малюсенького городка, чтобы напомнить о себе. Конечно, ему, Моте, надо выспаться, чтобы завтра пойти на работу, которая по нему уже сильно плачет, ведь он, в конечном счете, не так одинок, потому что человечество само по себе — затерявшаяся крошка-песочинка, и поэтому, если подумать, нет никакого смысла отменять субботний ракетбол.

Заснул Мотя прямо за столом в своей гостиной, одетый в толстый свитер и теплые носки. Положил руки на стол, на них голову, и так и проспал, рядом с чашкой, на которой была изображена черная собака. Сначала заснул, а потом, спустя время, — проснулся. Проснулся от того, что началось утро, яркое, солнечное, и свет этот, яркий и веселый, затопил гостиную, дом и весь белый свет. Изумрудным цветом сияла лужайка перед лесом, да и сам лес выглядел теперь юным и праздничным, как будто его только что взяли и посадили. Всем на радость.

Мотя потянулся, помотал головой из стороны в сторону, и, несмотря на неудобную шею и неловкость в плечах, почувствовал, что выспался. Как можно было выспаться, просидев за столом всю ночь, непонятно, но, тем не менее, он выспался и точно это знал.

«Ну что ж, теперь опять по порядку! — решительно начал он. — Сначала душ!» Он сделал воду погорячее, постоял под ней с минутку, потом резко рванул — и пустил ледяную струю. Контрастный душ, испробованное средство, очень поднимает тонус. Растеревшись жестким полотенцем, Мотя почувствовал, как остренькие иголки забегали у него сначала по спине, затем спустились к пяткам и защекотали ступни, так что ему даже захотелось пошевелить пальцами, а потом — волной поднялись к лицу и жаром вспыхнули на щеках, лбу, ушах. Ему даже показалось, что от горячей волны заалела кожа под волосами, поэтому он, от удивления, приник к запотевшему зеркалу, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Оттуда, сквозь теплый туман на него посмотрел прозрачно-голубоглазый, яркощекий, рыжевато-кудлатый, не такой, конечно, кудлатый, как дядя, но тоже вполне ничего, молодой человек. То есть, он, Мотя Левин, он же Матвей Ильич, а также Мэттью Левайн, своей собственной и не совсем собственной персоной.

содержание

Встреча	7
Моя первая машина. Про любовь	22
Сон перед грозой	36
Посылка	65
Двадцать пятое марта	73
Визит	102
Золотая стена	126
Капустные листы и кочерыжки	150
Речь	159
Командировка	165
Догадка	179
<i>Из цикла «Бабка»</i>	
Мальчики-девочки	190
Девочки	198
Лирические осколки. О цветах	209